

A portrait of Andrey Dementiev, a middle-aged man with grey hair, smiling and gesturing with his right hand. He is wearing a blue suit, a white shirt, and a blue patterned tie. The background is a blurred purple and pink bokeh.

**АНДРЕЙ
ДЕМЕНТЬЕВ**

**И ВСЕ-ТАКИ
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА**

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Биография эпохи

Андрей Дементьев

И все-таки жизнь прекрасна

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Дементьев А. Д.

И все-таки жизнь прекрасна / А. Д. Дементьев — «Издательство АСТ», 2018 — (Биография эпохи)

ISBN 978-5-17-109628-1

В этой книге Андрей Дементьев, знаменитый поэт, писатель, журналист, легенда XX века искренне рассказывает о своей жизни, касаясь ключевых моментов истории нашей страны: Великой Отечественной войны, послевоенной разрухи, яркой эпохе «шестидесятников» и своей работе в культовом журнале «Юность», переломных 90-х... Его по праву можно назвать голосом не одного поколения! Перед читателем открываются не только фрагменты исключительной творческой биографии поэта, но и яркие портреты известных писателей, художников, артистов, политиков, таких, как Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Мая Плисецкая, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, Владимир Максимов, Андрей Вознесенский и т. д... Книга автобиографической прозы Андрея Дементьева богато иллюстрирована уникальным фотоматериалом из семейных архивов.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-109628-1

© Дементьев А. Д., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

| | |
|------------------------------------|----|
| От автора | 6 |
| Всему начало – отчий дом | 7 |
| Тверские впечатления | 8 |
| Литературный институт | 15 |
| У входа на Парнас | 16 |
| Поэзия приходит поутру | 21 |
| Как мало тогда нам исполнилось лет | 23 |
| Из дневника | 27 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 29 |

Андрей Дементьев

И все-таки жизнь прекрасна

Серия «Биография эпохи»

Фотографии предоставлены из личного архива автора

© Андрей Дементьев, текст

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

От автора

Однажды, в пору нашей работы в журнале «Юность», мой земляк и старший друг, писатель-фронтовик Борис Полевой спросил: «Старик, вы ведете дневники?» Я удивленно ответил, что никогда не вел и не веду.

– Напрасно. У вас интересная жизнь. Память всего не удержит. А придет время писать мемуары, пожалеете, что ничего не записывали...

– Меня, – говорю, – еще в юности расколодил Михаил Михайлович Пришвин. Выступая перед участниками Всесоюзного совещания молодых писателей, он сказал нам, что никогда не вел дневники, ибо память сама сохранит все самое главное. А то, что позабудется, значит, было не очень важным...

Много позже я узнал, что старый писатель хитрил. Дневники он все-таки вел. Но Полевой в чем-то меня тогда убедил. И я стал вести дневник. Однако в силу своей занятости делал это нерегулярно, а потом и совсем забросил. И сейчас, когда действительно настало время мемуаров, пишу почти обо всем по памяти. Заглядывать, кроме своей души, мне некуда.

Мы все жили и продолжаем жить в одно время, и у всех у нас много общего, и потому личная судьба каждого – это неожиданный ответ на многие вопросы, таящиеся где-то в глубине души незнакомого тебе человека. Правда, иногда мемуары – это всего лишь скрытые происки мелкого тщеславия, когда может показаться, что твоя жизнь и твоя персона представляют невероятный интерес для всего человечества... Я далек от таких мыслей. Но если мой опыт и моя природная откровенность заставят кого-то задуматься не только о своем прошлом, но и поразмышлять о настоящем и будущем, то я буду доволен вспыхнувшим между нами взаимопониманием.

Кроме того, мемуары предполагают еще одну грань читательского интереса. Это рассказы о незаурядных личностях, о знаменитых современниках, с кем автору довелось по жизни общаться, дружить, работать...

У меня, например, таких встреч было великое множество. Назову только несколько имен – Михаил Шолохов, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Джина Лолобриджида, Чингиз Айтматов, Зураб Церетели, Булат Окуджава, Мирей Матье, Андрей Вознесенский, Иосиф Кобзон, Евгений Евтушенко, Алла Пугачева... Звездный список можно еще и еще продолжать.

Как говорит народная мудрость, чужая душа – потемки. Однако я бы уточнил – потемки, когда на нее не падает свет вашей доброты и интереса... А поскольку многое на земле повторяется, то в каждой судьбе найдутся крупинки и твоей жизни, дорогой читатель... А это значит, что книга, которую я представляю на ваш суд, может чему-то научить и даже от чего-то предостеречь.

Андрей Дементьев
2018 год

Всему начало – отчий дом

Тверские впечатления

Всем лучшим в себе я обязан родителям. А потом уже книгам, школе, учителям и творческому азарту. Мой отец – Дмитрий Никитович – был родом из бедной крестьянской семьи. Переехав из деревни Старый Погост в Тверь, выучился на гримера и работал в театре. Потом стал дамским парикмахером и пользовался большим успехом у женщин. Во-первых, потому что был молод и красив, а во-вторых, потому что стал отменным мастером.

Однажды в церкви он увидел свою будущую жену Марию – очень привлекательную и скромную девушку. И вскоре посватался к ней. Ему отказали.

В это время он брал уроки гипноза. И попытался проверить магию на своей избраннице. Приходил к церкви, когда там шла служба. Он знал, что Маша с родителями в Храме, и мысленно вызывал ее на улицу. Мама рассказывала потом, что она всегда чувствовала его приход, испытывая тревожное беспокойство, и в конце концов под разными предложениями выходила на улицу.

Они любили друг друга, но ее родители были против их союза. До сих пор не понимаю – почему. Красивая пара, оба из простых семей, работающие... Когда отец вновь пришел свататься, суровая Екатерина Игнатьевна – так звали мою будущую бабушку – бросила в жениха кастрюлю с кипятком. Отец понял, что надеяться больше не на что. И тогда он выкрал невесту и увез ее в деревню Старый Погост, что располагалась в двенадцати километрах от Твери. Чтобы избежать скандала и позора, родители Маши смирились и устроили пышную свадьбу... Маме тогда едва исполнилось 18 лет, а отцу было 24 года.

Спустя несколько лет отец вдруг решил поменять профессию и поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, которую закончил с отличием и вернулся из Москвы в Тверь агрономом.

Но в семье нашей главенствовала мама. Она и фамилию оставила себе девичью – Орлова. Отец так сильно ее любил, что каждое желание или просьба жены были для него радостным обязательством.

Я родился в день Святого Андрея Первозванного, и родители называли меня Андреем. В те годы в Твери это имя было не очень популярным. Может быть, потому, что в атеистическую эпоху называть детей в честь святых было не принято. Но меня крестили, и я навсегда остался верным своим именинам.

Помню, как одна наша гостья при мне сказала моему отцу: «И чего ты назвал сына Андреем? Есть много хороших русских имен – Иван, Василий, Кузьма...» Отец что-то ответил, а я – шестилетний малыш – сразу невзлюбил эту тетю.

Отец нередко брал меня в свои поездки по колхозам, чтобы я мог познать деревню не только по рыбалке и грибным походам, но и по нелегким крестьянским будням. Как-то на поле к нам подошла молодая и очень миловидная женщина и спросила меня: «Мальчик, а как тебя зовут?» Совершенно неожиданно для себя я ответил: «Вася...» Отец весело засмеялся и потрепал меня по вихрам. «Андрей он у нас...» – сказал он гордо той женщине (как я потом узнал – председателю местного колхоза), и она тоже засмеялась... С тех пор я никогда не позволял себе таких шуток. А в школе даже возгордился, что моего имени ни у кого из ребят не было.

Жили родители дружно. Это сказывалось на моем характере, воспитании и настроении. С самых ранних моих лет отец каждый вечер читал мне перед сном хорошие книги – сказки Пушкина, «Маугли», Лермонтова, Жюль Верна... Благодаря отцу я рано пристрастился к чтению. Он следил за выбором книг, поощрял мой интерес к русской и зарубежной классике. Изодня в день незаметно и ненавязчиво воспитывал во мне доброту. Ее он ценил в людях превыше всего. И еще уважение к старшим, к чужому труду.

Каждое лето, уезжая на школьные каникулы к бабушке, я учился косить, окучивать картошку и собирать урожай в нашем большом огороде. Ничего не прошло даром. До сих пор я хорошо чувствую психологию крестьянина, понимаю и ценю деревенский труд, уважаю простых людей, умеющих и печь сложить, и корову подоить, и дом построить. Поэтому так много в моих книгах стихов о жизни земляков, о красоте сельской природы и красоте человеческой души. Именно потому для меня очень высок и светел образ простого труженика, я всегда осуждал и осуждаю в своей поэзии все, что калечит, угнетает и унижает моего лирического героя, списанного с добрых людей.

Наш дом, который хранится сейчас лишь на старых семейных фотографиях и в песне «Отчий дом», что написали мы вместе с Женей Мартыновым, тоже волжанином, навсегда остался для меня началом судьбы, биографии и первых радостей и испытаний.

Помню, однажды ночью, на второй день после начала Великой Отечественной войны, к нам пришли хмурые люди в зеленых фуражках, все перерыли в нашей маленькой комнатке и увели с собой отца. Он обернулся на пороге и, увидев, что я не сплю, грустно улыбнулся мне.

Потом сказал, обращаясь к плачущей маме: «Это недоразумение. Я скоро вернусь...» Но вернулся он только через несколько лет – поседевший, состарившийся. Как бывшего политзаключенного, его никуда не брали на работу. Тогда он смастерил точильную машину и стал брать в парикмахерских ножницы, в магазинах ножи и с утра до вечера точил их. Заказов было много, но денег всегда не хватало... Я уже поступил в пединститут и одновременно учился в Московском заочном полиграфическом. Время было тяжелое, и жили мы бедно. Мне очень хотелось скорее стать самостоятельным и помогать родителям...

Шли годы. Отца реабилитировали, как и четверых его братьев, двое из которых не вернулись из лагеря. Трагически погиб и мой дед Григорий Платонович, человек могучего здоровья и силы. На лесозаготовках он случайно попал под рухнувшую сосну. Двадцать дней сердце его продолжало биться в раздавленной груди. Было ему 64 года... А до войны все мы жили одной большой семьей – дед, бабушка, я с отцом и мамой, ее братья. Каждое воскресенье по вечерам семья собиралась за праздничным столом, приходили гости. Было шумно и весело. Потом мама с дедом пели русские народные песни и романсы. Особенно мне нравился в их исполнении «Вечерний звон». У деда был сильный баритональный тенор. И хотя он нигде не учился, владел голосом искусно. Потому-то его часто приглашали петь в церковном хоре. А мама пела в любительской опере и даже участвовала в различных фестивалях. Они и приобщили меня к музыке.

Уже позже я стал собирать пластинки с любимыми певцами. И больше всех любил Сергея Яковлевича Лемешева. Многие его арии и романсы знал наизусть. Каждый день в нашем доме надрывался старенький патефон... Природа тоже наградила меня хорошим голосом. Я занимал первые места на детских конкурсах и фестивалях. Меня приняли в музыкальную школу. Учителя видели во мне будущего певца. Моя любимая учительница пения Вера Ниловна обучала меня игре на фортепьяно. Все ждали переходного возраста, когда установится голос, и в мои семнадцать лет педагоги устроили прослушивание. Я исполнил несколько русских и неаполитанских песен. Директор музыкального училища – маленький добрый старичок, предложил мне поступить на вокальное отделение. Но что-то меня остановило. Может быть, погрузневшие глаза моей учительницы, в которых я прочел легкое разочарование, как бы обманутые надежды... И я отказался поступать в училище, потому что понял – выдающегося певца из меня не получится. А при моей любви к музыке быть заурядным исполнителем не хотелось.

В детстве я был, как и все мальчишки, непоседливым и азартным. Помню, как-то свалился с крыши нашего дома (и чего меня туда понесло?!) и очень неудачно упал лицом на острое полено. Маме позвонили на работу. Она тут же прибежала – бледная, рыдающая, схватила меня на руки и понеслась в больницу. Кажется, мне было тогда лет пять. Несколько дней я не мог открыть опухший рот и ничего не ел. Переломов, к счастью, медики не обнаружили.

Однако на этом мои приключения не кончились. Рядом с нашим домом высилась крутая гора, которую мы называли Куклиновкой. Однажды, на спор, я покатился с нее на санках спиной вперед. Санки перевернулись и железная скоба сломала мне нос. И опять мама бежала со мной в больницу. Плакала, убивалась и все смотрела на мое изменившееся лицо. Ей казалось, как она позже рассказывала, что ее сын теперь навсегда будет уродом. И опять все обошлось.

Однажды ясным весенним утром я чуть не погиб под трамваем, когда по глупости и мальчишеской лихости прыгнул в несущийся на всей скорости вагон. Спасло меня увлечение гимнастикой – я удержался на натренированных руках от падения под колеса. Выжался и отпрыгнул в сторону. И отделался лишь ушибами да многодневным стрессом.

Потом целый месяц ходил в школу пешком, боясь трамвая.

Позже, уже став студентом Литинститута, я провалился под лед, когда переходил Волгу, и мои зимние каникулы чуть не стали последними в жизни. Удивительно, но когда я барахтался в мерзлой воде среди крошившихся льдин, вдруг вспомнилось, как наш школьный учитель физкультуры – бывший фронтовик учил своих подопечных, как надо вести себя, если провалишься в полынью. Главное, чтобы не затащило под лед. Тогда конец. И потому я изо всех сил бил ногами по воде, пытаюсь плыть по ледяному крошеву, осторожно вытаскивая себя на более крепкий слой льда. Это случилось в центре города, напротив кинотеатра «Звезда», где было много народу, которому я устроил захватывающее водное шоу. Когда я уже отполз по льду в безопасное место, прибежали с длинным шестом мальчишки, и мы общими усилиями достали из воды мою новую пыжиковую шапку, которую мне только что подарила мама. Если бы не эти ребята, я бы еще раз полез в реку, чтобы достать мамин подарок.

Но мама о случаях с трамваем и купанием в Волге так никогда и не узнала. Я боялся ее волновать.

В тяжелые военные годы мы очень голодали. Мама собирала свои наряды, простенькие украшения и драгоценности, и мы с ней отправлялись в деревню менять скудное барахло на хлеб и картошку. Обо всем этом рассказано в моих стихах и потому не стану повторяться.

Как-то, лет в четырнадцать, я написал ей прощальное письмо, надел чистую рубашку и, когда бабушка отправилась в магазин, вставил в горящую электроплитку где-то найденный боевой патрон и прислонил к нему грудь. Но судьба распорядилась иначе. Видимо, что-то забыв, бабушка тут же вернулась и открыла дверь. Я отпрыгнул. Раздался выстрел, и пуля пробила форточку. Бабушка, по-моему, ничего не поняла и опять ушла. Я не знаю, почему мне тогда вдруг не захотелось жить. Может быть, из-за этих бесконечных военных голоданий, когда ни о чем, кроме хлеба, я уже не мог думать. Может, просто возраст, попал в кризис и душа с ним не совладала. Помню только, что в первые минуты после выстрела я с ужасом подумал, а что стало бы с мамой и вообще с моими близкими, если бы этому несчастью суждено было случиться. Страшно подумать... Но, слава Богу, опять все обошлось.

Я рано начал ухаживать за девочками. Маму мои увлечения беспокоили. И не напрасно, потому что постоянная влюбленность и частые свидания отвлекали от школы, от книг и немного отчуждали нас друг от друга. Мне, конечно, хотелось хорошо выглядеть, прилично одеваться, что было совершенно естественно для моих пятнадцати – шестнадцати лет. Но время было трудное – война – и романтические настроения разбивались о жестокий быт. Помню, как я стыдился больших отцовских валенок с галошами, в которых мне приходилось в распутицу приходить на свидания. Да и одежонка у меня была потрепанной, не по росту, с довоенных времен.

В то время школу разделили на мужскую и женскую. Мы дружили классами – наш 8-а с девочками из семнадцатой школы, в которой мы до того учились все вместе. Приезжая в Тверь, я прихожу на берег Волги, на то самое «энское место», где наши юные королевы учили нас – неуклюжих мальчишек – зимними вечерами танцевать вальс и танго. Без музыки, под общее мелодичное мычание. До сих пор не знаю, почему уроки танцев проходили не весной,

не летом, а именно в зимнюю стужу. Но нам было тепло – от дружбы, от взаимных симпатий, от нашей юности. Мама знала об этих «танцульках» и в один из новогодних праздников устроила для моих школьных друзей вечеринку. Мы уплетали поджаристую картошку с солеными огурцами, пили травяной чай, а потом танцевали под старенький патефон. Когда все разошлись, я ничего не сказал маме, а просто нежно ее обнял. Как хорошо было нам от этого молчаливого взаимопонимания!..

Всех своих девочек, в которых влюблялся, я непременно приводил в наш дом, знакомил с мамой. Кто-то ей нравился, кто-то нет. Но эта потребность искреннего общения сохранилась во мне на всю жизнь. Прошли через ее оценивающий мудрый взгляд и все мои жены. С интервалами в долгие годы...

В детстве меня редко наказывали. Правда, однажды был случай, когда мы с моим двоюродным братом Борисом залезли в соседский сад нарвать яблок. Хотя у бабушки были свои яблони, но чужие яблоки ведь всегда вкуснее. Хозяин сада дядя Коля влепил нам с братом по оплеухе, а потом нажаловался моему отцу. Тот еще добавил, а мне, как старшему, больно надрал уши. В деревне существовала такая круговая порука взрослых – воспитывать детей сообща.

А второй раз я получил ремня вообще ни за что. Мой одноклассник с нашей улицы позвал полакомиться любимым мороженым и халвой. «А деньги?» – спросил я. Он показал смятую трешку. Мы всласть «покутили», а вечером выяснилось, что трешка им была взята из дома без спроса. На этот раз меня отстегала мама. Но больше меня так никогда не наказывали.

Особо доверительные отношения у меня сложились с маминым братом Борисом. Это был еще очень молодой человек, неженатый, красивый, склонный к авантюризму и любивший всех разыгрывать. Как-то со своим другом Валентином они купили крупную живую рыбину и понесли ее домой бабушке. По дороге рыба стала засыпать, а им очень хотелось всех удивить живой громадиной. И неподалеку от нашего дома они пустили ее в огромную лужу, образовавшуюся после дождя на Сенной площади. Рыба вильнула хвостом и ушла в мутную воду. Тогда эти два фраера при галстуках и в костюмах сняли модные ботинки, засучили брюки и стали с двух сторон ловить уплывшую добычу. Собралось много народа. Их замучили советами, пока они наконец не выловили одуревшее от шума и бурлящей воды будущее бабушкино жаркое.

Мы дружили с Борисом всю жизнь. И когда дядя Боря уже обзавелся семьей и у него родились сыновья, он оставался по-прежнему заводным, веселым, до всего любопытным. На фронте его тяжело ранили и списали под чистую. Он уехал в Курган, где в дни оккупации Твери обосновалась его жена Зина с детьми. Мы редко виделись, но симпатии мои к нему от этих разлук не угасли. Он умер от полученных ран далеко не старым человеком.

Еще в нашей большой семье был самый мой близкий друг – младший мамин брат Сережа... Разница в возрасте у нас была небольшая – около четырех лет. По своим годам и по виду он «не тянул» на полноценного дядю и потому я считал его своим братом. Мы играли с ним в дворовый футбол, учились в одной школе, одинаково тяжело болели scarlatina и вместе ездили с ребятами на картошку. Однажды, в азарте игры я случайно задел его дедушкиной шашкой, которую тот привез с японской войны, и отбил ему кусок переднего зуба... Сережа не побил меня, не наговорил обидных слов, а просто ушел в дом и спрятал там злополучную шашку. И никогда не вспоминал о моей неловкости. Так и остался он на наших семейных фотографиях – шестнадцатилетним улыбчивым парнем с печальными глазами и с памятной щербинкой... Мой дядя – Сережа Орлов – погиб под Орлом в 43-м году в неполных девятнадцать лет. Много позже, познакомившись в Литературном институте с поэтом Сергеем Орловым, я испытывал почти мистическое чувство некоей сопричастности этих двух фронтовиков...

Мне приснился мой старший брат,
Что с войны не пришел назад.

Мне приснилось, что он вернулся —
Невредимый и молодой.
Маме радостно улыбнулся:
— Я проездом... А завтра в бой. —

Мать уткнулась ему в ладони...
— Что ты, мама! Ну, как вы здесь? —
По глазам угадав, что в доме,
Хлеба нету, да горе есть.

— Угостить тебя даже нечем.
Если б знала — сменяла б шаль...
— Что ты! Разве я шел за этим?!

— Не за этим... А все же жаль,
Что вот так я встречаю сына.

Брат достал фронтовой паек,
На две равные половины
Поделил он его, как мог.
— Это вам... —
И, взглянув на брата,
Я набросился на еду.

— А теперь мне пора обратно.
А теперь я ТУДА пойду.
Завтра утром идти в атаку.
В ту, последнюю для меня.

И тогда я во сне заплакал,
Не укрыв его от огня.

Эти стихи о Сереже я написал много лет спустя.

...Мы учились в разрушенном городе, в промерзшем классе, когда в чернильницах замерзали чернила, и все, начиная с учителей, сидели в довоенных шубах, шинелях или телогрейках. Помню, как в студёный декабрьский день учительница литературы — молодая красивая женщина — вошла в класс и неожиданно сняла пальто. Было так холодно, что мы почли за подвиг ее решимость. А на самом деле ей просто захотелось побыть среди нас в новенькой, видимо, с довоенных времен хранившейся цветной кофточке, потому что накануне у нее был праздник. Заехал на несколько часов ее муж, чья часть стояла неподалеку от города Калинина, только что освобожденного от фашистов... С этого радостного признания она и начала свой урок.

Вообще война как-то очень сблизила людей. И нас с учителями — тоже. Никто не называл их «училками», не давал им прозвищ. Мы были одной большой семьей, потому что жили на краю гибели. Жили бедами, отчаяньем и надеждой военной поры. Все голодали. Помню, как по весне я ходил рвать крапиву, чтобы бабушка сварила из нее щи. По натуре добрый и жалостливый мальчишка, я убил однажды из рогатки воробья, ощипал и положил его в тот котел. Мне постоянно хотелось есть. Возраст требовал полноценного питания, чтобы мужать, крепнуть, набирать силу. Но шла изнурительная война. Страна голодала и мы вместе с ней...

Горькие времена!
Худенький мальчик, где ж ты?
В сутки – лишь горсть зерна.
Триста граммов надежды...

Всем классом мы ходили по весне сажать картошку нашим учителям, чтобы как-то помочь им выжить в то голодное время. А осенью собирали урожай. Они устраивали для нас праздничные обеды, где царским блюдом была картошка, а также лук и огурцы. Летом мы заготавливали дрова, чтобы хотя бы в самые лютые морозы чуть-чуть согреть школу. В те военные будни никто из нас не пропускал уроки. И не только потому, что мы повзрослели. Но больше потому, что в школе давали каждому серую булочку и стакан сладкого чая. Пропустить такое было невозможно.

Вечерами я уходил в читальный зал, что помещался на моей улице. Читал запоем все – классику, детективы, стихи, пьесы Шекспира.

Читальня помещалась в старом доме.
В ту пору был он вечерами слеп.
Знакомая усталая мадонна
Снимала с полки книгу,
Словно хлеб.

Когда я закончил восьмой класс, война уже катилась к границам Германии. Конечно, мы все – мальчишки сороковых – мечтали попасть на фронт. Но годы не пускали. И, чтобы почувствовать себя взрослее и самостоятельнее, я решил сдать экстерном следующий класс и сразу перейти в десятый. Уговорил еще четверых одноклассников, и мы стали заниматься. И это было так нелегко. Потому что нас манила Волга с ее лодками и рыбалкой, с золотым песком городского пляжа и тихой водой. А в кинотеатре «Звезда» шли не увиденные нами фильмы. Но мы с утра до позднего вечера корпели над учебниками, ходили на консультации к преподавателям и завидовали своим сверстникам. Помню, в одно из воскресений я решал задачки по алгебре с нашей математичкой Марией Матвеевной у нее дома. Мы знали, что она одинока. Единственная дочь была на фронте. Урок уже заканчивался, когда в дверь кто-то постучал. Вошла усталая женщина с большой почтовой сумкой и протянула письмо. Мария Матвеевна тут же начала читать и, вскрикнув, опустилась на стул. Я бросился к ней: «Что случилось?» Но говорить она не могла, а только плакала и стонала. Я понял, что пришла беда. Через силу она сказала: «Доченька моя погибла. Вот друзья ее пишут, как это произошло...» И снова заплакала. Я стоял возле своей любимой учительницы, держал ее за руку и не знал, что делать – успокаивать или молча быть рядом. Потом подумал, что надо мне уйти, чтобы она побыла одна, поплакала. Да и сам я едва сдерживал слезы.

И вдруг Мария Матвеевна, словно почувствовав, что я собираюсь уходить, сказала: «Останься, Андрюша. Давай заниматься. А то я сойду с ума...»

Вот какие были у нас учителя.

А вскоре Мария Матвеевна умерла. Умерла от горя. Мы провожали ее всем классом и гроб несли на руках. Шел снег. Девчонок на похоронах не было, потому что мы учились в мужской школе. Пришли только ее коллеги – молодые и не молодые русские женщины, столько пережившие в те невыносимые годы.

Уже много позже, вспоминая школу и своих замечательных педагогов, я написал стихи:

Не смейте забывать учителей.

Все лучшее в нас – все от их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

Литературный институт

У входа на Парнас

Вот уже несколько последних лет, провожая очередной старый год, я не досчитываюсь кого-то из близких, сверстников, друзей, «товарищей по оружию»... Всякий раз, проезжая по Тверскому бульвару, я смотрю на родной дом – Литинститут – наш Лицей – и вспоминаю далекие студенческие годы. Как и тогда, в небольшом сквере напротив трехэтажного старинного здания одиноко стоит памятник Александру Ивановичу Герцену. Сколько перевидал он на своем веку молодых гениев и случайных литературных пижонов, в разные годы учившихся здесь.

Мой путь к аудиториям Литературного института был не из легких. В 1949 году я учился в Калининском пединституте (ныне Тверской государственный университет). Перешел на последний курс. Учителем быть не хотелось и потому заочно сдавал экзамены в Московском полиграфическом. И там тоже перешел на четвертый курс.

Именно в это время в Калинин приехал молодой поэт Сергей Наровчатов, который проводил у нас семинар начинающих авторов. Московский гость был уже известен своей первой книгой «Костер», названной так по заглавному стихотворению, которое многие из нас знали наизусть. Сергей Сергеевич представлял ту самую великую фронтовую поэзию, что дала отечественной литературе замечательных мастеров – Юлию Друнину, Михаила Луконина, Сергея Орлова, Евгения Винокурова, Семена Гудзенко, Николая Старшинова...

Наровчатов выделил меня из большой группы начинающих авторов и посоветовал поступать в Литинститут. Честно сказать, я был несказанно обрадован и горд. Литературный институт для меня в те годы казался недостижимым Олимпом. Но я поверил своему наставнику и поехал с документами и стихами в Москву. Сергей Сергеевич дал мне телефон поэта Михаила Луконина, очень известного в послевоенные годы, с которым, как я понял, они дружили. И сказал, что Луконин ждет моего звонка. Мы встретились с Михаилом Кузьмичом в сквере перед Литературным институтом. Он прочел 13 моих стихотворений и тут же написал рекомендацию. Среди стихов было одно, посвященное классику отечественной поэзии XVIII века Гавриле Романовичу Державину, которое особо заинтересовало моего нового наставника. Он попенял мне, что я не «обыграл» в стихах тот факт из биографии Державина, что будущий поэт родился недоношенным и его несколько недель выхаживали в хлебной опаре... «Запомните на будущее, – сказал мне тогда Луконин, – поэзия очень любит факты, художественные детали, которые в сюжетных стихах могут играть особую роль».

Я расстался с Лукониным окрыленным. Но впереди предстоял творческий конкурс. Заочный. Документы приняли, приемные экзамены я сдал, творческий конкурс (15 поэтических фигур на одно место) выдержал. Но вдруг выяснилось, что на первый курс мне нельзя, ибо я выпускник другого вуза, а для зачисления на третий или четвертый нужно согласие ректора пединститута на мое отчисление. Тогдашний тверской ректор П. П. Полянский меня не отпустил.

Конечно, мне было очень обидно. Но я решил не отступать перед всеми этими формальностями, которые могли убить мою многолетнюю мечту. И поехал в Министерство высшего образования добиваться правды. Все оказалось значительно сложнее. Тогдашний заместитель министра (фамилию его я запомнил на всю жизнь – Афанасьев) тут же подписал мне бумагу, по которой я мог быть переведен из Калининского института в Литературный, но, узнав, что я студент четвертого курса, попросил меня привезти ему официальное согласие Полянского. Оказывается, для подобных случаев было специальное распоряжение министра. А потому нужную мне бумагу Афанасьев оставил у себя. На другой день я опять явился пред грозны очи тверского ректора. И снова Полянский не дал согласия на мое отчисление из пединститута. Я

был в отчаянии. Еще бы! Экзамены сданы, творческий конкурс преодолен, а студентом желаемого вуза я стать не мог.

До начала занятий оставалось всего несколько дней. Ректор Литературного института Василий Семенович Сидорин пообещал, что как только будет разрешение министерства, меня зачислят на третий курс. Я мотался ночными поездками из Калинина в Москву и обратно (электричек на этом направлении тогда не было, и дорога в один конец занимала пять-шесть часов) и с утра уже сидел в приемной Афанасьева. Его секретарша, глядя на мой измученный вид и сочувствуя моему отчаянию, пропускала меня к шефу без очереди. К счастью, он оказался приятелем проректора тверского института, к которому я по его совету и отправился. И тот подписал мое заявление. Полянский узнал о нашей «авантюре», но сделать уже ничего не мог, потому что в паспорте у меня появился штамп об отчислении студента Дементьева с четвертого курса вверенного ему вуза.

И опять я Москве. Афанасьев радостно вручил мне свою резолюцию – «Перевести...» «Талантам надо помогать», – сказал он мне на прощание. Я поехал в Калинин собирать вещи и поздно вечером 31 августа 1949 года явился на Тверской бульвар, 25 в надежде застать Сидорина и отдать ему все документы. Мне повезло. Он оказался на месте и очень удивился моему столь позднему визиту. Но тут же подписал приказ о моем зачислении на третий курс. И вот я студент единственного в мире Литературного института имени А. М. Горького при Союзе писателей СССР.

В маленьких аудиториях, где занималось по 25–30 прозаиков и поэтов, сидели нынешние классики – Расул Гамзатов, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Юрий Трифонов, Константин Ваншенкин, Юлия Друнина... Еще совсем молодые, хотя прошли фронт. А мы, приехавшие сюда из школы или, как я, из студенческих будней, были моложе их на Великую Отечественную. Но все были на «ты», потому что пока перед ее Величеством Литературой каждый из нас не имел преимуществ.

Я попал в семинар Михаила Луконина, который, как я уже писал выше, дал мне рекомендацию для поступления в Литинститут и потому особенно внимательно относился к моему творчеству. В этом же семинаре занимались Юля Друнина, Володя Соколов, Сергей Орлов. К моменту прихода Михаила Кузьмича в Литературный институт ему только что исполнилось тридцать лет. Несмотря на свой простецкий вид и постоянное добродушие, Луконин был человеком очень интеллигентным и образованным. Ко всем студентам, исключая фронтовиков, с кем его связывала недавняя военная пора, обращался на «вы». Стихи его пользовались широкой известностью, особенно фронтовые. Мы все знали тогда его крылатые строки:

В этом зареве ветровом
Выбор был небольшой,
Но лучше прийти с пустым рукавом,
Чем с пустой душой.

В том же 1949 году он опубликовал поэму «Рабочий день», за которую получил Сталинскую премию. Тогда это было знаком высшего признания. Но Михаил Кузьмич не выпячивал себя в литературной среде, был внимателен и уважителен к своим коллегам... А скольким молодым он помог выйти на широкую дорогу поэзии!

И потом, когда Луконин ушел из института, нашим семинаром стал руководить Евгений Аронович Долматовский. В отличие от Михаила Кузьмича, он строго проводил обсуждения наших творений. Долматовский был больше педагог, чем поэт на наших занятиях. Луконин увлекал своей непосредственностью и лирическим азартом. И обоих я вспоминаю с благодарностью и печалью...

Особым вниманием у нас пользовался семинар по творчеству А. С. Пушкина, который вел замечательный человек и крупный ученый Сергей Михайлович Бонди, известный тем, что сумел прочесть все рукописи Александра Сергеевича, которые долгие годы не были прочитаны из-за неразборчивого почерка великого поэта. Однажды Бонди ушел из института прямо с экзаменов, когда кто-то из студентов назвал при нем лицейские стихи Пушкина слабыми. И не появлялся до тех пор, пока виновный не закончил институт и не уехал в свою родную вотчину. Но это из давних студенческих легенд, а в наши времена Сергей Михайлович аккуратно приходил на занятия и так интересно рассказывал о жизни и творчестве Пушкина, что все мы сидели на его лекциях как завороченные.

Помню, как в институтской стенгазете я поместил стихотворение «Болдинская осень», написанное к 150-летию Пушкина. Сергей Михайлович прочел его при мне, когда мы стояли у только что вывешенного листка, и сказал несколько добрых слов. Я был счастлив. «Сам Бонди оценил...»

Я мало писал в те годы. Наверстывал упущенное – ходил по театрам, зачитывался современной поэзией, журналами, много занимался, слушал лекции мастеров – К. Симонова, А. Твардовского, И. Эренбурга, М. Исаковского, С. Маршака... Бывал на всех литературных вечерах. И постоянно влюблялся – то в юных москвичек, то в красивых землячек. А еще само-забвенно дружил. И самыми близкими друзьями в студенческие времена стали мои сверстники – поэты из Грузии, Абхазии, Азербайджана и Армении. Они учили меня ценить дружбу, разбираться в винах, любить море и «вешать лапшу» на уши профессорам, когда доставался плохой билет на экзаменах.

Отар Куправа, Наби Хазри, Ваагн Каренц, Костя Ломиа, Алеша Ласуриа, Иса Гусейнов – замечательные имена послевоенной многонациональной литературы. Многих уже нет среди нас...

А тогда мы все были молоды, веселы, талантливы и беззаботны. Институт не готовил из нас писателей. Просто нам создали благоприятную обстановку и среду, чтобы поощрить талант, помочь в творчестве и воспитать художественный вкус. Все остальное зависело от нас самих.

Некоторые спохватывались, что выбрали не тот вуз, и уходили. Или просто их переводили в другие институты.

Я тоже боялся быть исключенным. Но по другой причине. Дело в том, что вся моя большая семья была репрессирована. Как я уже рассказывал, дед погиб в лагере. Отец сидел по 58-й статье, два его брата не вернулись из тюрем, два других отсидели свое. Правда, их всех потом реабилитировали. Но тогда еще страной управлял Сталин. И дети отвечали за своих отцов. А я при поступлении скрыл эти факты, потому что уже дважды мне возвращали документы из приемных комиссий, когда я честно писал о родственниках. Причем отец же мне и посоветовал ничего не сообщать, зная, что я уже не однажды обжигался.

В то время общежитие наше располагалось в Переделкине. Я обосновался с однокурсниками на бывшей даче Маршака. Каждое утро мы ездили электричкой на занятия и вечером возвращались обратно. На дорогу уходило много времени. Столовой у нас не было. Билеты мы покупали за свои деньги, которых у студентов и без того не хватало. В общем, условия были неважные. И тогда мы написали письмо Сталину, в котором просили как-то изменить наш быт. Вместе с нами учились и ребята из других стран – из Греции, Албании, Кореи, Болгарии, Чехословакии, Польши... Они тоже подписали это письмо. И грянул скандал. Письмо перехватили, передали в партком института. На срочном партийном собрании начальство призвало к ответу зачинщиков. А я был среди них. Александр Трифонович Твардовский, который шефствовал над нашим институтом, как секретарь Союза писателей, поддержал нас. Поддержали и многие преподаватели. Особенно фронтовики. Секретарь парткома писатель В. Смирнов подал в отставку. Письмо отнесли в Кремль. Вскоре все в нашей жизни изменилось. За нами закре-

пили автобус, Литфонд оплачивал проезд. В Переделкине появилась студенческая столовая, где студенты получали бесплатно и завтрак, и ужин. Мы воспряли.

Жили мы весело. На переделкинской лужайке, которую обозвали Неясной поляной, по выходным все играли в футбол. Высоченный Роберт Рождественский стоял в защите. Пройти его было невозможно без опасности что-нибудь сломать. А петербургский писатель Борис Никольский охранял ворота. Грузинский поэт Отар Куправа считался лучшим нападающим...

Помню, как на избирательном участке, что располагался в нашем институте, пробираясь к столу, чтобы проголосовать за очередного кандидата в Верховный Совет, мой однокурсник выкрикнул свое имя и фамилию пожилой активистке – «Салам Кадыр-заде Дадаш оглы...» В ответ она раздраженно сказала: «Представляйтесь, пожалуйста, по одному...» С ним же произошла и другая смешная история. В день приезда в Москву он назначил свидание какой-то девушке, видимо, тоже приезжей. «А где?» – спросила она. «В московском метро», – пояснил Салам. И только потом увидел, что на каждой станции написано – Московское метро.

Однажды с Отари мы поехали ко мне в гости в Калинин. Билеты мы, естественно, не брали. Дорого. По дороге контролеры нас высадили на маленькой станции под романтическим названием «Березки». Мы разожгли в лесу костер и три часа до следующего поезда читали друг другу стихи. Звучала то русская, то грузинская речь... Светила луна и догорали ветки в костре. Может быть, именно в тот осенний вечер я почувствовал, как талантлив мой друг... И когда на другой день мы покидали наш дом, Отари произнес шуточный тост – «За временную ликвидацию». Отец спросил, что, мол, это значит. Блеснув своей белозубой улыбкой, гость сказал: «Это значит только одно – мы вернемся».

Но вместе нам вернуться не удалось... Через несколько лет мой друг ушел из жизни. А еще раньше – замечательный абхазский писатель Алексей Ласуриа, с которым мы сидели в аудитории за одним столом, скончался от инфаркта. Когда я приехал в Сухуми и пришел на кладбище почтить память своих друзей, вспомнилась наша далекая юность, Литературный институт и веселая наивность поэтов...

Мы очень нежно дружили в Литинституте. И самым близким другом для меня в те годы был Отари Куправа – веселый, остроумный и добрый парень. Учился он, правда, неровно, потому что на лекциях писал бесконечные подстрочники своих стихов для перевода их на русский язык. И много времени посвящал всяким увлечениям – кино, литературным вечерам и любовным свиданиям. Помню, как-то перед весенней сессией он неожиданно предложил: «Давай эстетику сдадим досрочно. Каникулы продлим... И потом, это психологически точно. Если студенты намерены сдать экзамен досрочно, профессор подумает, что мы прекрасно знаем предмет. И ему будет приятно, и нам хорошо...» А надо сказать, что этот курс нам читал очень известный тогда профессор Асмус, который был демократичен и не зверствовал на экзаменах. Мы договорились и поехали к нему домой. Он жил одиноко в небольшом двухэтажном особняке, построенном после войны «фашистскими оккупантами», то бишь пленными немцами. Помню, в кабинете у него стоял большой телескоп и фортепьяно. Отари сразу обратил внимание на юную пышную домработницу, которая принесла нам чай, и поначалу отвлекся от билета. Я отвечал первый и получил четверку.

Но когда подошла очередь Отари, я понял по его лицу, что вытянутый им билет ничего общего со вчерашним оптимизмом не имеет. Он начал что-то очень невнятно говорить, а потом вдруг сказал Асмусу: «Простите, профессор, я очень плохо знаю русский язык, можно я буду отвечать по-грузински?» Хозяин кабинета добродушно рассмеялся и, взяв у Отари зачетку, поставил ему удовлетворительную оценку.

Когда мы вышли на улицу, мой друг радостно подтолкнул меня: «Ну, что я тебе говорил?»

Однажды мы с Отари подрались. В доме, что выходил окнами на Тверской бульвар, жила его сестра Мзеона со своим мужем. Наш институт располагался рядом, и мы нередко после лекций приходили к ним в гости. Как-то хозяева уехали на несколько дней в Сухуми, и Отари

переселился в квартиру сестры. Помню, я зашел к нему и застал у него нашу общую знакомую Люду – русскую красивую девушку, за которой Отари активно ухаживал. Она ему очень нравилась. Думаю, что и он ей. И началось грузинское застолье – с тостами, с кавказским вином... Немного захмелев, Отари вдруг не очень любезно обратился к своей гостье и позволил себе нерыцарские выражения. Я его оборвал и предупредил, что он находится в обществе женщины. В тот момент мне показалось особенно обидным, что распоясался он в присутствии русской девушки. «Поди, при грузинке ты бы так не посмел себя вести...» – подумал я. И завелся. И первым ударил своего друга в грудь. Он упал, но тут же поднялся. Когда после его кулака я влетел головой в железную спинку кровати, из глаз у меня посыпались искры... Люда встала между нами. Однако я успел еще раз сильно садануть Отари в солнечное сплетение. Он согнулся и долго не мог выпрямиться, а я отстранил Люду и в ярости покинул поле сражения. В тот же вечер я пошел в театр имени Пушкина, благо он был по соседству, но до сих пор не могу вспомнить, что за спектакль тогда смотрел...

Утром позвонил Отари. Как ни в чем не бывало он сказал мне: «Ты обратил внимания, что вчера ни ты, ни я не ударили друг друга в лицо. Потому что братья... Прости, но я жду тебя в нашем кафе на Тверском...» Ну, как я мог сердиться на него! Я засмеялся и отправился на мужское свидание. Мы помирились. Отари признал, что был не прав, и в моем присутствии попросил прощения у Люды. Но, как я понял, она простила его еще раньше... Больше у нас никогда не было ссор.

Уже много лет спустя, став председателем Государственной экзаменационной комиссии Литинститута, три года ходил я на экзамены, читал дипломные работы выпускников и часто ловил себя на мысли, что не оскудела родная земля талантами. И один из них – ныне редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев – блистательно защитился по теме «Дневники Пришвина».

И сейчас во многих городах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья пишут свои книги мои молодые коллеги. Успехов им!

Поэзия приходит поутру

В 1958 году в Смоленске проходил фестиваль молодых поэтов России. Мне посчастливилось попасть в семинар классика отечественной поэзии – Михаила Васильевича Исаковского. За несколько лет до этого события, еще в Литературном институте я слушал его лекции о песенном творчестве. Исаковский тогда был невероятно популярен. Автор знаменитой на весь мир «Катюши», он создал много других замечательных песен – «Летят перелетные птицы», «Враги сожгли родную хату», «В лесу прифронтовом», «Снова замерло все до рассвета», «Вдоль деревни», «Дан приказ: ему на запад», «Огонек».

Мэтр плохо видел, носил темные очки и на первый взгляд казался неприветливым человеком. На самом деле, как я убедился позже, он был очень добр.

Так случилось, что спустя многие годы мы попали с Исаковским в одну больницу. Он тяжело болел. Я приходил к нему в палату и подолгу засиживался. Меня поражали его оптимизм и мужество. Никаких жалоб, ни слова о болезни. Только стихи, воспоминания, желание «поговорить за жизнь», которой у Михаила Васильевича оставалось в обрез. Каждый вечер он ждал меня, узнавал по шагам, потому что уже почти не видел.

Но тогда в Смоленске все было иначе. Мы понемногу познакомились друг с другом. Вторым нашим руководителем оказался мало мне известный писатель Сергей Баруздин. Походкой, сутулостью и усами он походил на Горького. Был очень строг к нам. Почему-то сразу выделил меня, хотя и разругал мою новую книгу, рукопись которой я перед этим сдал в Калининское издательство. Я послал телеграмму, чтобы книгу задержали, и, вернувшись домой, пересоставил ее, добавив новые стихи и выбросив разруганные Баруздиным. Тогда-то и началась моя дружба с будущим редактором одного из лучших журналов «Дружба народов». Мы вместе трудились и отдыхали в Доме творчества «Малеевка», вместе встречали праздники – то в Москве, то у нас в Калининне. Я привозил ему стихи, ездил от журнала в командировки. Очень известный в те годы поэт Ярослав Васильевич Смеляков, который ведал в редакции поэзией, однажды напечатал большую подборку моих стихов, среди которых была «Баллада о матери», ставшая впоследствии известной песней.

И хотя мы долгое время были с Баруздиным на «вы», он очень доверительно строил наши отношения: присылал мне свои книги, хлопотал о санаторной путевке, когда я серьезно заболел, даже приехал в Калинин поговорить с врачами относительно моего лечения в Москве, и часто звонил мне. Приезжая в столицу, я останавливался у Баруздиных дома. Люся – жена Сережи – тонкая умная женщина – поддерживала эту дружбу, потому что чувствовала, как я дорожу нашими отношениями и пытаюсь благотворно влиять на неуравновешенность ее мужа. В то время он сильно выпивал, хотя здоровье у него было не очень крепкое, подорванное еще войной... А я тогда вообще не брал в рот спиртного и старался отвлечь Сергея от вредной привычки. Впрочем, это не очень помогало. Каждый день в обед он брал в Доме литераторов свой неизменный бокал коньяка с апельсиновым соком и вечером неоднократно повторял норму. Однако трудился он много и много издавался. Лучшая его книга «Повторение пройденного» выдержала не одно издание, была выдвинута на Государственную премию СССР и имела большой успех.

Когда в середине 80-х он напечатал в своем журнале роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», вся страна узнала Баруздина с другой – редакторской стороны. Он бесстрашно одолел цензуру, принял на себя все удары начальства и продолжал делать прекрасный журнал, где публиковались Булат Окуджава, Андрей Вознесенский и другие «властители дум».

Я очень многим обязан Баруздину. В трудные для меня дни он писал статьи о моих книгах, вместе с Борисом Полевым активно поддержал мою поэму о Валентине Гагановой. Эту

поэму так замордовали в Твери доморощенные коллеги, что я попал в больницу с полным истощением нервной системы.

Именно в те черные дни Баруздин понял, что мне надо уезжать из Калинина, и стал всячески хлопотать о моем переезде в Москву. На одном из правительственных приемов в Кремле он встретился с моим земляком Сергеем Павловым – первым секретарем ЦК ВЛКСМ и договорился, чтобы меня взяли на работу в аппарат ЦК. А возраст к тому времени у меня был далеко не комсомольский. Однако я переехал. Проговорив со мной полтора часа, Павлов не обратил внимания на анкету, а мой внешний вид, спортивная форма, видимо, ввели его в заблуждение. Потому что незадолго до этого он издал распоряжение не брать никого на работу в ЦК старше тридцати лет. Мне тогда было тридцать девять.

Я еще жил в Калинине, когда Сережа Баруздин позвонил мне и, захлебываясь от рыданий, сказал, что очень больна Света, их единственная дочь.

Я поспешил в Москву. В тот вечер у нас на глазах у нее случился припадок эпилепсии – неожиданный для всех, страшный. Веселая, красивая девочка стала жить под страхом своей болезни, боясь автобусов, метро, боясь одиночества, когда в любую минуту могла оказаться без сознания. «За что, за что?» – не сдерживая себя, плакал Сережа, сидя у постели побледневшей измученной дочери. Думаю, что эта беда намного сократила его годы. Он очень любил Светлану.

Но первой умерла Люся – Сережина жена, умерла от рака. Она мужественно переносила все страдания, которые выпали на ее долю. Сергей держался. Старался не пить. Много работал. «Как все призрачно на этом свете», – словно в полузабытьи повторял он, печально глядя на фотографии своих близких... Сейчас никого уже нет – ни Сережи, ни Люси, ни Светки с Алешей из той далекой и дорогой мне поры нашей жизни. И только книги Баруздина и фотоальбом хранят память о моих друзьях.

Как мало тогда нам исполнилось лет

В июне 1969 года на бюро ЦК ВЛКСМ меня утвердили заместителем заведующего отделом пропаганды. Я понемногу входил в дела. Провел Всесоюзное совещание редакторов комсомольских газет и журналов. Поближе познакомился со своими молодыми коллегами, окунулся в журналистские будни. Много читал местной прессы. Работать было интересно, но раздражал комсомольский бюрократизм, заимствованный из партийных органов. И я нарушал эти замшелые каноны. Помню, как при утверждении на секретариате журналистских кадров, где мне по долгу службы приходилось их представлять, я донельзя сократил процедуру и решил не зачитывать все анкетные данные кандидатов, как было принято. Представляя как-то привлекательную и пышнотелую девушку на должность заведующей отделом журнала «Вокруг света», я не назвал год ее рождения, полагая, что для прекрасного пола это не обязательно. И вообще не стал читать анкету. «Все данные прилагаются», – сказал я в конце, когда девушка встала со своего места и секретари наглядно убедились, что эти «данные» действительно при ней... Причем столько было молодого задора и артистизма в поворотах красивой фигуры, что все мои коллеги согласно заулыбались. И только первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельников укоризненно покачал головой и строго посмотрел в мою сторону. Но с этого дня утверждение кадров проходило по моей схеме – коротко и без лишних анкетных подробностей. Случались у меня и другие курьезы. Однажды в день рождения А. М. Горького я «послал» всех секретарей ЦК ВЛКСМ возлагать венок к его памятнику у Белорусского вокзала, когда надо было венок возложить к могиле писателя у кремлевской стены, как это сделали члены Политбюро ЦК КПСС. А комсомол, как известно, во всем копировал партию, и нарушение этикета осуждалось в верхах. Но мне как-то все сходило с рук.

Помню, на обсуждении журнала «Молодая гвардия» я резко выступил против националистических тенденций в некоторых публикациях этого популярного комсомольского издания, что привело в конечном счете к смене его руководства. А накануне с этим журналом произошел неожиданный курьез. Мне позвонил заведующий общим отделом ЦК и попросил срочно зайти.

– Тебя ждет шеф... Неприятный разговор будет...

Я вошел в просторный кабинет Евгения Михайловича. Он ждал меня, стоя в дверях и держа в руках журнал «Молодая гвардия».

– Вот принесли из нашей библиотеки. Я не против критики, Андрей Дмитриевич... Но так же нельзя... Видно, кто-то из ваших коллег постарался...

И он протянул мне номер «Молодой гвардии» с его статьей. Я стал листать. И сразу бросились в глаза смешные пометки карандашом: «Ну и ну!», «Вот те раз!», «Этого быть не может», «Ух ты!», «Как бы не так!» – Я читал озорные восклицания, очень хорошо понимая обиду автора, который опубликовал серьезную и, кстати сказать, хорошо написанную статью... Но Тяжельников смотрел на меня так, словно злополучные пометки принадлежали мне. Я понял его немой упрек и неожиданно для самого себя рассмеялся. Шеф еще больше помрачнел. Я тут же объяснился: «Это писал кто-то из посторонних. Ведь в библиотеку приходят разные люди... Мои ребята такого себе не позволяют. Не обращайтесь внимания, Евгений Михайлович. Мало ли на свете идиотов...»

Он недоверчиво взглянул на меня. Надо сказать, что наш первый секретарь до прихода в ЦК работал ректором педагогического института и к слову относился очень серьезно. Естественно, его авторское самолюбие было ущемлено самой формой критики. Он не привык к словесной развязности...

А через несколько дней я узнал, кто был автор тех мальчишеских пометок. К моему удивлению, им оказался редактор одного детского журнала. Я ему сказал все, что думал по

поводу его «творчества», но авторство обещал сохранить в тайне, потому что он мог иметь большие неприятности за свое легкомыслие.

А вскоре главным редактором «Молодой гвардии» был утвержден бывший сотрудник аппарата ЦК ВЛКСМ – Феликс Овчаренко – очень порядочный и умный журналист, который, к сожалению, рано ушел из жизни, не успев всласть поработать в журнале.

Сейчас, по прошествии времени, я с чистой совестью могу сказать, что работа в аппарате ЦК ВЛКСМ научила меня многому. Я стал более четким и собранным в серьезных делах, научился держать слово и ценить мужскую дружбу. Рядом со мной работало немало талантливых ребят, как и я, приехавших из провинции, которые сумели сохранить в себе наивную чистоту души и непосредственность в общении. Много было хорошего в той жизни, как бы сейчас ее ни порочили. Например, игры – «Золотая шайба», «Кожаный мяч», когда наши мальчишки учились брать спортивные высоты... Или «Пути боевой славы» – патриотическое движение, которое было полезно тем, что объединяло тысячи школьников в их стремлении находить безвестных героев Великой Отечественной войны, ухаживать за братскими могилами, помогать инвалидам...

Всего не перескажешь. И уж по крайней мере, не знали мы тогда страшных цифр о наркоманах, беспризорниках и юных преступниках, чем сейчас заполнены наши газеты и телеэкран, тревожа души старших поколений. Пишу об этом не потому, что с возрастом все мы грустим по минувшим временам, а потому, что все лучшее, что было создано прежде, не должно потеряться в сегодняшней суете...

В те далекие комсомольские годы очень я дружил с Володией Токманем – уроженцем Украины. Он работал вначале зам. зав. отделом пропаганды, затем помощником первого секретаря, а закончил свою жизнь на посту главного редактора журнала «Студенческий меридиан». К сожалению, он рано умер – в возрасте 38 лет – и остался в моей памяти добрым, светлым и очень широким человеком. Каждая встреча с ним была для нас обоих неподдельной радостью. На моих глазах росли его очаровательные дочери, в которых он души не чаял. Катя стала знаменитой актрисой – Екатериной Стриженовой, а Виктория Андрианова прославилась своим дизайнерским искусством.

Сколько прошло через мою судьбу замечательных людей – талантливых и честных, ставших потом известными писателями, политиками, бизнесменами... Я их помню, слежу за ними... И один из них – мой друг и коллега – Олег Попцов, сделавший до того заурядный комсомольский журнал «Сельская молодежь» брендом отечественной журналистики, а затем создавший Российское телевидение в трудные времена перестройки... Помню, как за какую-то публикацию в журнале его срочно вызвали на бюро ЦК ВЛКСМ. Выяснилось, что Е. М. Тяжельникову позвонил главный идеолог страны М. А. Суслов и потребовал разобраться с крамольным журналом. Попцова ожидали большие неприятности. Но нам удалось его защитить... И все обошлось малой кровью. «Круговая порука дружбы», как я написал спустя много лет, помогала нам всем и выстоять, и не потерять своего лица...

С тех комсомольских лет я дружу с Игорем Ильинским – полным тезкой великого актера. Мы вместе с ним работали в аппарате ЦК ВЛКСМ. И должности у нас были одинаковые – заместители заведующих отделами. Сейчас он профессор, доктор наук, ректор Московской гуманитарной академии.

Валерий Ганичев, возглавляющий ныне Российский союз писателей, во времена нашей комсомольской молодости был моим непосредственным начальником – заведующим отделом пропаганды. Я очень трудно перехожу с окружающими на «ты», а в комсомоле тогда отношения строились просто. Английского этикета не существовало. Но к Валерию я долго обращался на «вы» и по имени-отчеству. Мешала провинциальная привычка – робеть перед начальством. Это уже позже мы подружились и сблизились, хотя очень часто спорили, потому что во многом расходились во взглядах. И на литературу тоже. Но мне нравилось, что Ганичев умел быть

прямым в суждениях и никогда не подлаживался к чужим мнениям. Сейчас мы редко видимся. Но прожитая рядом жизнь уже никогда не забудется...

Когда один из моих тверских недоброжелателей прислал Тяжельникову гнусное письмо, в котором «уличал» меня в том, что я был дважды женат (хотя я и не скрывал этого), и на этом основании требовал отказать мне в доверии и запретить заниматься воспитанием молодежи, Евгений Михайлович сам позвонил автору письма и, как я знаю, подтвердил свое доброе ко мне отношение. «Личная жизнь человека должна быть превыше чужих вмешательств...» – сказал Евгений Михайлович моему недоброжелателю. А ведь это были времена мелочного контроля и персональных дел. Тем более что речь шла об ответственном работнике ЦК ВЛКСМ. Я мысленно был благодарен шефу за его такт и благородство.

Хорошо помню Бориса Пуго, который в то время работал секретарем ЦК. Это был очень интеллигентный и приветливый человек. С небольшим, едва уловимым прибалтийским акцентом. Спокойный, рассудительный, он умел слушать своих коллег с одинаковым вниманием – будь то первый секретарь или простой инструктор. И когда случился переворот в 1991 году и Пуго оказался в числе заговорщиков ГКЧП, я очень удивился. Образ Бориса Пуго никак не вязался с агрессией. Он был слишком мягок для решительных действий. И слишком честен для предательства. А потому природная порядочность привела его к единственному выходу из той ситуации, в которую он попал, может быть, даже не по своей воле. Борис Карлович застрелился.

Но особенно мне был интересен другой Борис, которого я до сих, хотя он и моложе, зову по имени-отчеству – это Борис Николаевич Пастухов – после Тяжельникова – первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Вот кто был для меня учителем по части держать слово и никогда не нарушать его. Его организаторский талант вызывал восхищение многих. Ему подражали, его боялись, но и любили. Я знал, что если есть к нему какая-то просьба – деловая или житейская, он отнесется к ней со всем вниманием. И ныне, когда мы встречаемся, он чувствует мою симпатию и уважение. И не только за прошлые дела, но и за то, что в сегодняшней нелегкой жизни никогда не изменяет себе и своим принципам.

Я проработал в аппарате ЦК ВЛКСМ более трех лет. В те годы советские космонавты, возвращаясь из космоса, всегда приходили в наше зеленое здание на улице Богдана Хмельницкого, чтобы рассказать о полетах, пообщаться, послушать своих поклонников и вновь почувствовать себя юными комсомольцами. Помню, как я читал стихи Волкову, Добровольскому и Пацаеву. И думать не думал, что через несколько месяцев они погибнут в покоренном ими Небе. И мы будем печально стоять в том же зале, где еще недавно звучал их смех, и вспоминать ту нашу единственную встречу.

И еще. До сих пор у меня перед глазами фигура первого космонавта Юрия Гагарина, когда он спускался по лестнице нашего комсомольского дома к выходу и в открытую дверь пахнуло весной и светом...

Мне навсегда запомнился его веселый взгляд и легкая походка. А через несколько дней его не стало. У меня хранится фотография, где мы рядом с Юрием Алексеевичем, когда он приезжал в гости к Валентине Гагановой в Вышний Волочек...

Три поколения

Как мало тогда нам исполнилось лет.
По нашим знаменам струился рассвет.
И молодость наша – как песня была.
Потом эта песня нас в бой повела.
Ты мне приколола у сердца звезду.
Ты мне говорила: «Я тоже пойду...»

И воздух от взрывов был сер и тяжел.
Вот так начинался для нас комсомол.
Как мало тогда нам исполнилось лет.
Война погасила июньский рассвет.
Мы снова оставили наши дела.
И снова нас песня в поход повела.
Не знали мы, кто возвратится назад.
На горькой земле обелиски стоят.
Как мало тогда нам исполнилось лет.
И вечная молодость. Старости нет.
И жизнь наша с вами еще целина.
Добра и надежды взошли семена.
И прожитый день – это верность отцам.
И память с мечтою у нас пополам.

Из дневника 1970 год. Июль

Вчера Евгений Михайлович Тяжельников вызвал меня к себе и сказал:

– Полетите в станицу Вешенскую к Шолохову. Передайте ему приглашение принять участие в заседании советско-болгарского клуба. Уговорите Михаила Александровича выступить...

Надо сказать, что наш клуб собрал много молодых, но уже известных деятелей литературы и искусства. Его заседания проходили как в Болгарии, так и в России. На этот раз мы решили собраться в Ростове. Члены клуба обсуждали на своих встречах творческие проблемы, устанавливали связи, готовили для издания книги и выпускали журнал «Дружба», главным редактором которого с нашей стороны был замечательный поэт Владимир Фирсов. Особенно активно занимались клубом Валерий Ганичев, Лариса Васильева, грузинский поэт Резо Амашукели, болгарские писатели Любомир Левчев, Лучезар Еленков и Георгий Константинов...

Я полетел в Ростов. Оттуда на машине вместе с первым секретарем Ростовского обкома комсомола Вадимом Рамазановым и фронтовым другом Шолохова, который не представлялся, мы добрались до Вешек. Нас встретил молодежавший и, как все великаны, добродушный казак – секретарь Вешенского райкома партии Петро. Он сразу же признался, что почти до утра гулял на своем юбилее и потому у него паршиво в горле. Требуется опохмел. Я сказал ему, зачем мы приехали. Петро оживился. Мы позвонили Шолохову, и через час он принял нас у себя дома.

...Великий писатель вошел в кабинет как-то очень тихо и вроде бы неожиданно. Я впервые видел его так близко и в таком простецком виде – в распахнутой домотканой рубашке и в домашних брюках. Он пожал всем руки, улыбнулся. Но глаза оставались серьезными. Я обратил внимание на его пристальный взгляд, которым он словно пронизывал тебя насквозь. Широким жестом Шолохов пригласил всех в другую комнату, где уже был накрыт стол. Мы осторожно расселись.

– Жена просила ее извинить, что не может разделить нашу компанию. Простудилась. Вчера села с мокрой головой, дуреха, на балкон (Михаил Александрович как-то очень тепло и необходимо произнес это слово – «дуреха») и ее продуло...

Он наполнил рюмки коньяком и поднял свою.

– Давайте за здоровье Мариш Петровны. И до дна... – Я повернулся к соседу и прошептал ему: «Я не пью, Петро...» «Ты что, с ума сошел? Он этого не поймет...»

И громко повторил вслед за хозяином: – «За Марию Петровну. До дна!» Пришлось выпить.

Понемногу все расслабились и завязался общий разговор.

Неожиданно Шолохов обратился ко мне, и я вновь почувствовал пронзительность его взгляда.

– Мне очень знакомо ваше лицо... И фамилию вашу я слышал. Где мы могли встречаться?

– Наверное, на съездах писателей, Михаил Александрович.

– Понял. Я как-то сразу не сопоставил... Вы – поэт. Это вас я читал в журнале «Юность»... Было такое?

– Каюсь, бывало...

– Не кайтесь, журнал и стихи хорошие. Хотя и не все мне нравится в «Юности». Но об этом не будем.

– Не будем, – нагло согласился я.

И тут же Шолохов перевел разговор в другую плоскость.

– Недавно у меня побывал Евгений Евтушенко. Прилетел искать защиты. На Западе он опубликовал свою «Автобиографию», которая очень не понравилась в Москве. И, как всегда, мятежного поэта «прижали». Посулили неприятности. А Евгений, как известно, не любит неприятностей... Вот он и примчался ко мне за помощью. Я ему говорю – разберетесь. Что вам, впервой, что ли... Продолжайте писать. Жизнь у вас такая – из огня да в полымя...

Налили по второй. Петро морицился, но пил до дна. По его виду чувствовалось, что вчерашнее похмелье пошло на второй круг.

Повернувшись к своему фронтовому товарищу, Шолохов весело спросил его:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.